

Мы были молоды, беззаботны и несуетливы. Последнее, видимо, стало причиной того, что эта пора жизни особенно четко сохранилась в памяти. Нам, только что окончившим вузы, просто некуда было спешить. Дни, недели и месяцы сменялись неторопливо, словно нехотя, а не летели, как безумные, забывая, затмевая и вытесняя друг друга. Впрочем, может быть, так видится из сегодня, издали, из второй половины восьмидесятых годов. А история написания очень памятного для меня стихотворения произошла в самом начале шестидесятых, точнее, в ноябре 1961 года.

Но прежде необходимы некоторые пояснения.

У нас была прекрасная компания. «В наш тесный круг не каждый попадал» — эта строчка из песни Владимира Высоцкого имела невыдуманый адрес, если соотнести ее с тем домом, где были завсегдатями и он, и я, с восьмого класса сидевшие за одной партой. Почти каждый вечер собирались мы у одного из наших друзей, который жил один — родители умерли — в большой тридцатиметровой комнате. Квартира была коммунальная, в ней жили еще две семьи, но наши посетители, особенно заканчивавшиеся под утро, хотя и бывали шумными, соседей как-то не беспокоили. Быть может, потому что соседи были тоже достаточно молоды.

Взгляды героев Хемингуэя, которым мы зачитывались, исподволь становились нашими взглядами и определяли многое: и ощущение подлинного товарищества, выражавшееся в формуле «Отдай другу последнее, что имеешь, если это другу необходимо»; и отношение к случайным и неслучайным подругам, с подлинно рыцарским благовоением перед женщиной; и темы весьма темпераментных разговоров и споров; а главное — полное равнодушие к материальным благам бытия и тем более к упорчению и умножению того немногочего, что у нас было.

Не могу сказать, что мы вели жизнь богемы, но какие-то черты ее, безусловно, просматривались. Центральное место во всех наших бесконечных сборищах отводилось гитаре. На ней играли, вернее, аккомпанировали, мы с Володей Высоцким.

Когда я учился в восьмом классе, кто-то из соседей по квартире показал мне пять-шесть аккордов. Варьируя их, можно было вполне сносно подыграть любой песне. Довольно быстро я набил руку и исполнял почти весь репертуар Александра Вертинского благодаря маме, которая чуть ли не вместо колыбельных напевала надо мной про желтого ангела и маленькую балерину. Я пытался грассировать под своего кумира и считался у нас «виргуозом». Через два года Володя — тогда мы оканчивали десятый класс — попросил меня научить и его струнным премудростям. Он тоже довольно быстро освоил нехитрую музграмоту, но до моих «технических изысков» ему было тогда далеко.

Прошли годы. Я окончил Московский инженерно-строительный институт, поняв еще в институте, что учился тому, к чему не имею не только никакого призвания, но и что во мне ничего, кроме скуки, не вызывает. Поэтому первые годы своей инженерной «деятельности» в основном переходил с работы на работу, пытаюсь найти хоть что-то интересное. Тщетно. В период моей очередной «перемены мест» мы с Володей впервые потеряли друг друга из виду месяца на два.

Когда я снова «приблизился» к нашему кругу, первое, что бросилось в глаза, — резкая смена Володиного репертуара и



Игорь КОХАНОВСКИЙ

его достаточно свободное общение с гитарой. Васечек — так я называл Володю, а он — меня, что было своеобразным паролем, по которому мы среди нашей компании выделяли друг друга, будучи наиболее близкими по духу, — взял гитару и я услышал: «В тот вечер я не пил, не ел, я на нее одну смотрел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит, что мне не светит...». Потом было: «Красные, зеленые, синие, лиловые...», потом еще и еще. Я смотрел на него, наверно, квадратными глазами, в которых, судя по всему, были и восхищение, и удивление, и наконец вырвавшийся вопрос:

— Это твои?

— А ты, Васечек, разве не слышал? Ну, как же так!.. — ответил он нарочито шуточно, чтобы скрыть радость от моей реакции на услышанное. Дело в том, что только Володя из всех наших друзей знал, что я пишу стихи, и они уже печатались в институтской многотиражке. Стало быть, я, как никто другой из присутствовавших, мог по достоинству оценить то, что он сочинил. Песни же были действительно хороши. Даже в те гитарные времена, когда повсеместно распевали Булата Окуджаву и Александра Городницкого, они отличались особой естественностью, остроумием и бесшабашно-веселым напором, чем походили на своего создателя.

(Не могу не заметить, что появившиеся за последнее время многочисленные публикации о Володе Высоцком — для меня он навсегда останется Володей — грешат в лучшем случае полуправдой, идеализируя и искажая его неровный, довольно противоречивый и не всегда симпатичный характер. Особенно возмущает та личная трагичность, в которую столь упорно стараются его обрядить. Вздор все это! Главное в нем — актер. Актер по своей природе и, как говорится, до мозга костей. Игра была его стихией, его истинной натурой. Именно с игры или, как он любил говорить, «оригинальности ради, забавы для», началась его песенная стезя. Вначале как очередная затея, придуманная только для того, чтобы наши встречи были как можно веселее и разнообразнее. Лишь много позже из игры выросло явление, о котором еще спорить и спорить. К сожалению, и в серьезных вещах Володя часто играл, и даже заигрывался, что приводило его нередко к, казалось бы, безвыходным ситуациям. Но

легкость, с которой он принимал очередные «жизненные катаклизмы», всякий раз выносила его, целехонького и невредимого, на берег «тихой гавани», что он считал само собой разумеющимся.)

Весь следующий день я прожил под впечатлением Володиных песен. Впервые со мной произошло нечто, потом случавшееся не раз, когда я слышал, видел или читал такое, что не отпускало от себя, не отпускало подолгу. Меня словно что-то подстегивало, словно упрекало: «Что же ты сидишь, бездельник? Посмотри, как другие вкалывают, а ты баклуши бьешь». Чувство, толкавшее к нетронутому листу бумаги, усиливалось еще и тем, что писать стихи я начал гораздо раньше Володи, который тоже «пробовал перо», но то были короткие шуточки, пародии, эпиграммы на друзей. Короче, мне безумно захотелось написать песню, притом такую, чтобы она понравилась всем нашим. И в первую очередь — Володе.

А листья под окнами почти опали. Так недавно они еще горели, особенно на кленах, каким-то невероятным пламенем. И вот их почти нет. Столь же невероятной казалась мне в ту осень встреча с Леной, которую Володя сразу же назвал Марокканкой — за смуглый цвет кожи и иссиня-черные волосы короткой мальчишеской прически. Она и стала героиней уже брезживших во мне стихов. Я сел и, по-моему, за полчаса нарисовал:

*Клены выкрасили город
колдовским каким-то цветом.*

*Это снова,
это снова
бабье лето,
бабье лето.*

*Что так быстро тают листья —
ничего мне непонятно.
Я ловлю, как эти листья,
наши числа,
наши даты.*

*Только вот тревожно маме,
что меня ночами нету,
что опять женья обманет
бабье лето,
бабье лето.*

*...Я кружу напрапалую
с самой ветреной из женщин.
Я давно искал такую —
и не больше,
и не меньше.*

*Я забыл, когда был дома,
спутал ночи и рассветы.
Это омут,
это омут —
бабье лето,
бабье лето.*

Мелодия к стихам родилась без особого труда.

На следующий вечер собрались у меня дома. Шум, гам, анекдоты. Наконец Володя взял гитару. Кажется, у него тогда было десять — двенадцать песен. Пел и еще какие-то, не свои. Где-то через час решил сделать «передых», как он говорил. Я как бы между прочим потянулся за гитарой, мол, настал и мой черед.

Запел как можно спокойнее, задавая себе четкий ритм. Окончил. Тишина. После паузы Артур Макароз, он был старше нас и пользовался репутацией домашнего мэтра, лукаво-одобряюще сказал: «Давай еще раз». Я понял, что песня получилась, она понравилась.

Вскоре «Бабье лето» стало у нас чуть не своеобразным гимном. И Володя часто пел его, не давая этого сделать мне, что было своего рода признанием песни с его стороны.



Игорь КОХАНОВСКИЙ и Владимир ВЫСОЦКИЙ. Январь 1956 г.